

Когда Черкасов говорил, что он уже давно работает над образом Ивана Грозного и в кино и театре, *Жданов* сказал: «Шестой уж год я царствую спокойно».

Прощаясь, Сталин поинтересовался здоровьем Эйзенштейна.

Записано Б. Н. Агаповым со слов С. М. Эйзенштейна и Н. К. Черкасова.

Милован Джилас УЖИН СО СТАЛИНЫМ

<Из книги «Беседы со Сталиным»>

Ужин начался с того, что кто-то, думаю, что сам Сталин, предложил, чтобы каждый сказал, сколько сейчас градусов ниже нуля, и потом, в виде штрафа, выпил бы столько стопок водки, на сколько градусов он ошибся. Я, к счастью, посмотрел на термометр в отеле и прибавил несколько градусов, зная, что ночью температура падает, так что ошибся всего на один градус. Берия, помню, ошибся на три и добавил, что это он нарочно, чтобы получить побольше водки.

Подобное начало ужина породило во мне еретическую мысль: ведь эти люди, вот так замкнутые в своем узком кругу, могли бы придумать и еще более бессмысленные поводы, чтобы пить водку, — длину столовой в шагах или число пядей в столе. А кто знает, может быть, они и этим занимаются! От определения количества водки по градусам холода вдруг пахнуло на меня изоляцией, пустотой и бессмысленностью жизни, которой живет советская верхушка, собравшаяся вокруг своего престарелого вождя и играющая одну из решающих ролей в судьбе человеческого рода. Вспомнил я и то, что русский царь Петр Великий устраивал со своими помощниками похожие пирушки, на которых ели и пили до потери сознания и решали судьбу России и русского народа.

Ощущение опустошенности такой жизни не исчезало, а постоянно ко мне во время ужина возвращалось, несмотря на то что я гнал его от себя. Его особенно усугубляла старость Сталина с явными признаками сенильности. И никакие уважение и любовь, которые я все еще упрямо пестовал в себе к его личности, не могли вытеснить из моего сознания этого ощущения.

В его физическом упадке было что-то трагическое и уродливое.

Но трагическое не было на виду — трагическими были мои мысли о неизбежности распада даже такой великой личности. Зато уродливое проявлялось ежеминутно.

Сталин и раньше любил хорошо поесть, но теперь он проявлял такую прожорливость, словно боялся, что ему не достанется любимое блюдо. Пил же он сейчас, наоборот, меньше и осторожнее, как бы взвешивая каждую каплю, — чтобы не вредила.

Еще более заметным было изменение его мысли. Он охотно вспоминал свою молодость — ссылку в Сибири, детство на Кавказе, новое же каждый раз сравнивал с чем-нибудь из прошедшего:

— Да, помню, то же самое было...

Непостижимо, насколько он изменился за два-три года. Когда я видел его в последний раз, в 1945 году, он был еще подвижным, с живыми и свежими мыслями, с острым юмором. Но тогда была война, и ей, очевидно, Сталин отдал последнее напряжение сил, достиг своих последних пределов. Сейчас он смеялся над бессмысленными и плоскими шутками, а политический смысл рассказанного мною анекдота, в котором он перехитрил Черчилля и Рузвельта, не только до него не дошел, но мне показалось, что он по-старчески обиделся, — на лицах присутствующих я увидел неловкость и озадаченность.

В одном лишь он был прежним Сталиным: резкий, острый, подозрительный при любом несогласии с ним. Он прерывал даже Молотова, и между ними чувствовалась напряженность. Все ему поддакивали, избегая излагать свое мнение прежде, чем он выскажет свое, спешили с ним согласиться.

Как обычно, разговор перескакивал с темы на тему, так я его и буду извлекать из памяти.

Сталин заговорил и об атомной бомбе:

— Это сильная вещь, сильная!

На его лице было выражение восхищения, ясно было, что он не успокоится до тех пор, пока и сам не добудет эту «сильную вещь». Но он ничего не сказал, есть ли она уже у СССР, идет ли над нею работа.

Между тем, когда Кардель и я месяц спустя встретились в Москве с Димитровым, он нам как бы по секрету рассказал, что

у русских уже есть атомная бомба, причем лучше американской, то есть той, что была сброшена на Хиросиму. Думаю, что это не соответствовало действительности и что русские только создавали атомную бомбу. Но разговор был, и я его привожу.

В эту ночь и потом на встрече с болгарской делегацией Сталин говорил, что Германия останется разделенной:

— Запад из западной Германии сделает свое, а мы из восточной Германии свое государство!

Эта его мысль была новой, однако понятной — она исходила из всего курса советской политики по отношению к Восточной Европе и по отношению к Западу. Непонятным для меня было заявление Сталина и советских руководителей в присутствии болгар и югославов летом 1946 года, что вся Германия должна быть нашей, то есть советской, коммунистической. Один из присутствующих, когда я его спросил: «А как русские думают это осуществить?» — ответил мне: «Вот этого и я не знаю!»

Я думаю, что не знали и те, кто произносил это заявление, и что они еще были опьянены военными победами и надеждой на экономический и иной распад Западной Европы.

Сталин меня внезапно в конце ужина спросил, почему в югославской партии мало евреев и почему они не играют в ней никакой роли. Я попытался объяснить:

— Евреев в Югославии вообще немного, и в большинстве они принадлежали к среднему слою. — Я добавил: — Единственный выдающийся коммунист-еврей — это Пьяде, но и он больше чувствует себя сербом, чем евреем.

Сталин начал вспоминать:

— Пьяде, небольшой, в очках? Да, помню, он был у меня. А каковы его функции?

— Член Центрального комитета, старый коммунист, переводчик «Капитала», — объяснил я.

— А у нас в Центральном комитете евреев нет! — прервал меня он и начал вызывающе смеяться:

— Вы антисемиты! И вы, Джилас, и вы антисемит! — Этот смех и его слова я понял, как и следовало, в обратном смысле — как выражение его антисемитизма и вызов, чтобы я высказал свое мнение о евреях, в особенности о евреях в коммунистическом движении. Я молчал и посмеивался — это мне было нетрудно, поскольку я антисемитом никогда не был, а коммунистов разделял

только на хороших и плохих. Но Сталин вскоре и сам оставил эту скользкую тему, удовлетворившись циничным вызовом.

Слева от меня сидел молчаливый Молотов, а справа многословный Жданов. Последний рассказывал о своих контактах с финнами и с уважением говорил об их аккуратности при поставке репараций:

— Все точно вовремя, в прекрасной упаковке и отличного качества.

Он закончил:

— Мы сделали ошибку, что их не оккупировали, — теперь бы все было уже кончено, если бы мы это сделали.

Сталин:

— Да, это была ошибка, — мы слишком оглядывались на американцев, а они и пальцем бы не пошевелили.

Молотов:

— Ах, Финляндия — это орешек!

Жданов как раз в это время организовывал встречи с композиторами и готовил постановление о музыке. Он любил оперы и между прочим спросил меня:

— А у вас в Югославии есть оперные театры?

Удивленный его вопросом, я ответил:

— В Югославии оперы идут в девяти театрах! — и одновременно подумал: как мало они знают о Югославии. Видно, что они ею интересуются только как географической областью.

Жданов, единственный из всех, пил апельсиновый сок. Объяснил, что из-за болезни сердца. Я его спросил:

— А какие последствия могут быть от этой болезни?

Сдержанно улыбнувшись, он ответил с обычной иронией:

— Могу умереть в любой момент, а могу прожить очень долго.

Действительно, было заметно, что он чрезмерно возбуждается, что у него нервная, повышенная реакция.

Новый план был только что принят, и Сталин, не обращая ни к кому определенно, подчеркнул, что надо бы повысить заработную плату преподавательскому составу. Затем он сказал мне:

— Наши преподаватели очень хороши, а зарплата у них низкая, надо что-то предпринимать.

Все согласились с ним, а я не без горечи вспомнил про низкое жалованье и плохие условия жизни югославских работников просвещения и про свое бессилие им помочь.

Вознесенский все время молчал — он держался как младший среди старших. Сталин обратился к нему непосредственно только один раз:

— Можно ли вне плана выделить средства для постройки канала Волга — Дон? Дело очень важное! Мы должны изыскать средства! Страшно важное дело и с военной точки зрения: в случае войны нас могли бы вытеснить с Черного моря — наш флот слаб и еще долго будет слабым. А что бы мы в таком случае делали с судами? Подумайте, как пригодился бы нам черноморский флот, если бы мы его во время Сталинградского сражения имели на Волге! Этот канал имеет первостепенную — первостепенную важность.

Вознесенский согласился, что средства необходимо изыскать, вынул записную книжечку и записал.

Меня уже давно занимали два вопроса — почти частные, и я хотел узнать мнение Сталина.

Один был из области теории: ни в марксистской литературе, ни в другой я не нашел объяснения разницы между словами «народ» и «нация», а поскольку Сталин давно считался среди коммунистов знатоком национального вопроса, я спросил его мнение, добавив, что об этом он не говорил в своей статье о национальном вопросе. Она была опубликована еще до первой мировой войны, и с тех пор считалось, что в ней выражена подлинная большевистская точка зрения.

В мой вопрос сначала вмешался Молотов:

— Это одно и то же — народ и нация.

Но Сталин не согласился:

— Нет, вздор! Это разные вещи! — и начал разъяснять: — Нация — это уже известно что: продукт капитализма с определенными характеристиками, а народ — это трудящиеся определенной нации, то есть трудящиеся с одинаковым языком, культурой, обычаями.

А насчет своей книги «Марксизм и национальный вопрос» он заметил:

— Это точка зрения Ильича, Ильич книгу и редактировал.

Второй вопрос относился к Достоевскому. Я с ранней молодости считал Достоевского во многом самым большим писателем нашего времени и никак не мог согласиться с тем, что его атакуют марксисты. Сталин на это ответил просто:

— Великий писатель — и великий реакционер. Мы его не печатаем, потому что он плохо влияет на молодежь. Но писатель великий!

Мы перешли к Горькому. Я сказал, что считаю самым значительным его произведением — как по методу, так и по глубине изображения русской революции — «Жизнь Клима Самгина». Но Сталин не согласился, обойдя тему о методе:

— Нет, лучшие его вещи те, которые он написал раньше: «Городок Окуров», рассказы и «Фома Гордеев». Что же касается изображения русской революции в «Климе Самгине», так там очень мало революции и всего один большевик — как бишь его звали: Лютиков, Лютов?!

Я поправил:

— Кутузов, Лютов совсем другое лицо.

Сталин продолжал:

— Да, Кутузов! Революция там показана односторонне и недостаточно, а с литературной точки зрения его ранние произведения лучше.

Мне было ясно, что Сталин и я не понимаем друг друга и что мы не сошлись бы во вкусах, хотя я и раньше слышал мнения крупных писателей, которые, как и он, считали названные им произведения Горького наилучшими.

Говоря о современной советской литературе, я — как более или менее все иностранцы — указал на Шолохова. Сталин сказал:

— Сейчас есть и лучшие, — и назвал две неизвестных мне фамилии, одну из них женскую.

Дискуссии по поводу «Молодой гвардии» Фадеева, которую тогда уже критиковали из-за недостаточной партийности ее героев, я избегал. Мои упреки в ее адрес были как раз противоположного свойства — схематизм, отсутствие глубины, банальность. То же самое я думал и об «Истории философии» Александрова.

Жданов рассказал о замечании Сталина по поводу любовных стихов К. Симонова: «Надо было напечатать всего два экземпляра: один для нее, второй для него!» — на что Сталин хрипло рассмеялся, сопровождаемый хохотом остальных.

Вечер не мог обойтись без пошлости, — конечно, со стороны Берии. Меня заставили выпить стопку перцовки. Берия, скаля зубы, объяснил, как эта водка плохо воздействует на половые

железы, употребляя при этом самые грубые выражения. Пока Берия говорил, Сталин внимательно смотрел на меня, готовый расхохотаться. Заметив мою кислую реакцию, он остался серьезным.

Но и без этого я никак не мог отогнать от себя мысль о поразительном сходстве между Берией и королевским белградским полицейским Вуйковичем — оно усилилось до такой степени, что я просто физически ощущал, будто нахожусь в мясистых и влажных лапах Вуйковича-Берии.

Но выразительнее всего была атмосфера, царившая независимо от произнесенных слов и даже вопреки им во время всего этого шестичасового ужина. За всем, что говорилось, постоянно ощущалось что-то более важное — нечто, что надо было высказать, но что начать высказывать никто не умел или не смел. Натянутость беседы и выбора тем способствовала тому, что это нечто ощущалось как реальность, почти доступная слуху. Внутренне я даже безошибочно знал его содержание: критика Тито и югославского Центрального комитета — в данном положении равносильна вербовке меня на сторону советского правительства. Особенную активность проявлял Жданов, не чем-то конкретным, ощутимым, а внесением какой-то особой сердечности, интимности в отношения и в разговор со мной. Берия смерил меня своими полузакрытыми зеленоватыми жабыми глазами, а выражение самодовольной иронии не сходило с его четырехугольных мягких губ. Над всем и над всеми был Сталин — внимательный, весьма размеренный и холодный.

Безмолвные паузы между двумя темами были все более длительными, напряжение во мне и вокруг меня все росло. Я быстро выработал тактику обороны — она, очевидно, уже до этого сама подготавливалась во мне подсознательно, — я просто скажу, что не вижу расхождения между югославским и советским руководством, что цели их совпадают, и тому подобное. Глухо, упрямо росло во мне сопротивление, хотя я и прежде не ощущал в себе никаких колебаний. Зная себя, я понимал, что из обороны мог легко перейти в наступление, если бы Сталин и остальные поставили меня перед моральной дилеммой — выбрать между ними и моей совестью, в данном случае между их и моей партией, между Югославией и СССР. Чтобы заранее подготовить свои позиции, я, как бы невзначай, несколько раз упо-

мянул Тито и свой Центральный комитет, — но так, чтобы мои собеседники не могли начать свой разговор.

Напрасна была также попытка Сталина внести личные, интимные элементы. Он спросил меня, вспомнив свое приглашение в 1946 году, переданное через Тито:

— А почему вы не приехали в Крым? Почему вы отказались от моего приглашения?

Я ждал этого вопроса, но все же был несколько неприятно удивлен, что Сталин про это не забыл. Я объяснил:

— Ждал приглашения через советское посольство, мне было неудобно навязываться самому, надоедать.

— Нет, чепуха, при чем тут надоедать. Вы просто не хотели приехать! — испытывал меня Сталин.

Но я замкнулся в себя — в холодную сдержанность и молчание.

Так ничего и не произошло. Сталин и его группа холодных, расчетливых заговорщиков — а я их ощущал именно такими — несомненно, учуяли мое сопротивление. А я как раз этого и хотел. Я избежал разговора, а они не решились спровоцировать меня на сопротивление. Они, конечно, считали, что не сделали преждевременного и поэтому ошибочного шага. Но и я распознал эту подлую игру и ощутил в себе какую-то внутреннюю, незнакомую мне до тех пор силу, способность отказаться даже от того, чем я до тех пор жил.

Ужин закончил Сталин, подняв тост в память Ленина:

— Выпьем за память Владимира Ильича, нашего вождя, учителя — наше всё!

Мы все встали и выпили в немой сосредоточенности — о ней мы, подвыпившие, быстро забыли, в то время как у Сталина все еще было растроганное, торжественное, но одновременно сумрачное выражение лица.

Мы отошли от стола, но перед тем, как разойтись, Сталин запустил громадный автоматический проигрыватель. Он пытался и танцевать, как на своей родине, — видно было, что он не лишен чувства ритма, но вскоре он остановился, сказав удрученно:

— Стареем, и я уже старик!

Но его помощники — чтобы не сказать бояре — начали его убеждать:

— Ах нет, что вы! Вы прекрасно выглядите, вы прекрасно держитесь, ей-богу, для ваших лет...

Затем Сталин поставил пластинку, на которой колоратурные трели певицы сопровождал собачий вой и лай. Он смеялся над этим с преувеличенным, неумеренным наслаждением, а заметив на моем лице изумление и неудовольствие, стал объяснять, чуть ли не извиняясь:

— Нет, это все-таки хорошо придумано, чертовски хорошо придумано.

После моего ухода все еще остались, но уже готовые к отъезду — действительно, что можно было еще говорить после столь продолжительной пирушки, на которой было высказано все, кроме того, ради чего она собиралась.

И. В. СТАЛИН В ПЕРЕПИСКЕ С ДЕЯТЕЛЯМИ КУЛЬТУРЫ

Сталин — профессору Ключникову об идее беспартийной газеты

<20 августа 1926 г. >

Милостивый государь.

Прошу прощения за поздний ответ, — страшно перегружен, хвораю к тому же, и не было возможности ни написать Вам подробное письмо, ни побеседовать с Вами лично. Сегодня уезжаю на юг (по предписанию врачей) и решил написать Вам два слова.

Я думаю, что с газетой не выйдет ничего, не добьетесь цели. Дело не в намерениях, а в логике вещей. Беспартийная газета в наших условиях, в данный момент, обязательно должна превратиться либо в трибуну антисоветских настроений, либо в ухудшенную копию коммунистических газет, — все равно, хочет этого редакция или не хочет. В первом случае — газета нежелательна, во втором случае — она умрет бесславно.

Это мое личное мнение.

Попробуйте поговорить с Бухариным.